

ВЛАДИМИР ДИБРОВА,

кандидат филологических наук, преподаватель Гарвардского университета (отдел славистики), редактор и писатель, резидент Украинского Научного Института Гарвардского университета

Обманчивые радости нонконформизма

В марте–апреле 2011 года в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) состоялась научная конференция на тему “Нонконформизм и диссидентство в странах Советского блока: путеводитель или исторический курьез?”. Основным докладчиком был проректор Украинского Католического Университета (Львов, Украина) *Мирослав Маринович*. Среди приглашенных были известные ученые из США, Канады, Восточной Европы и бывшие диссиденты (П.Литвинов, Г.Вуйец). Нонконформизм представляли художник Виталий Комар из России, польский театральный режиссер Ева Вуйчак и два украинца — Николай Рябчук и я.

Ведущий нашей секции д-р *Уильям Райш* предложил каждому из участников построить свое выступление в форме ответов на три ключевых вопроса.

Мои ответы таковы.

1. В чем заключалась суть вашего конфликта с режимом?

Моим единственным основанием претендовать на звание нонконформиста является тот факт, что я никогда не стремился быть частью подавляющего большинства. Идея принадлежности к правящей касте или, наоборот, к какой-либо теневой организации никогда не вызывала у меня ощущения безопасности и гордости, явной или тайной. Я даже не припоминаю за собой вполне нормального желания иметь гарантированную социальную защиту. (И в этом нет моей заслуги. Родители еще в молодости переехали в Киев, где имели хорошую работу и могли обеспечить своим детям приличное по тем временам образование. Поэтому вместо борьбы за место под солнцем я имел возможность сосредоточиться на других вещах.)

Как только я осознал себя — этнически, политически, эстетически — мне сразу стало ясно, что марксизм-ленинизм и все связанные с ним институты и ритуалы — не для меня. Но и на роль активного борца против Системы за справедливость и права человека я тоже не претендовал.

К счастью, годы моего формирования (1960–1970-е) пришлось на сравнительно мирный период советской истории. Широкомасштабные репрессии выродились в ограниченные “хирургические” кровопускания. После короткой и неубедительной десталинизации и “оттепели” стало очевидно, что коммунизм как идеология умирает, и поэтому власть вынуждена была смириться со скепсисом и едва скрываемым неудовлетворением своих подданных. За взгляды, как правило, уже не наказывали, и каждый мог отвести душу у себя на кухне. Отсюда и пышный расцвет фольклора. Там, где собирались двое, там всегда звучали “брежневские” анекдоты. Насквозь идеологизированный режим для выживания нуждался в определенной десакрализации.

Как это ни парадоксально, но даже в самые смутные периоды советской истории сам факт существования интеллигенции и ее моральный авторитет позволяли обществу в определенной мере культивировать свободную мысль. Ввиду отсутствия гражданского общества и маргинализации церкви гуманистические моральные ценности российской литературы XIX века оставались чуть ли не единственным компасом порядочности в нашем болоте бессмысленных лозунгов и догм. Но какой бы победоносной ни казалась поступь коммунизма, это законное дитя западной философской мысли с самого рождения несло в себе зерна разрушения. (Система, отвергающая все, что, по словам Гете, “не делится на разум без остатка”, может существовать только благодаря насилию и лжи.) Поэтому, в частности, и система тотальной индоктринации (то есть промывания мозгов с пеленок и до гроба) постоянно давала сбои. У нас каждому ребенку прививались такие коммунистические принципы, как “беззаветная любовь к Партии” или “классовая бдительность”, но в то же время от него требовалось быть “честным”, “принципиальным”, “небезразличным”. Однако ни одна из этих феодальных добродетелей никогда не согласовывалась с теорией и практикой диктатуры пролетариата. Поэтому до последнего времени “карьеризм” у нас считался негативным явлением, и даже сейчас можно услышать отчаянный возглас: “Имейте совесть!” Такой дуализм позволял существовать достаточно большому слою людей, приобщенных к умственному труду, но не охваченных производством или служебной деятельностью. Человек мог прозябать где-то на самых низких ступенях социальной лестницы и одновременно вести напряженную умственную жизнь и ощущать уважение к себе если не со стороны общества, то по крайней мере со стороны тех, кто считал себя “интеллигенцией”. Можно было получать минимальную зарплату и не беспокоиться о том, что тебя могут лишить жилья или же тебе будет нечего есть. Тоталитаризм — это, если присмотреться, только одна из форм патернализма. На нашей почве, то есть в обществе, которое традиционно уважало культуру и принципы, множество неудачников могли десятилетиями маскироваться под “оппозиционеров”, “внутренних эмигрантов”, “непризнанных гениев” или “тех, у кого совесть как чистый хрусталь”. Непризнание со стороны власти было чем-то вроде выигрышного лотерейного билета. Ибо, как обещает “Интернационал”, “кто был никем, тот станет всем”. (Пожалуй, не существует более примитивной пародии на Нагорную проповедь.)

Сейчас модно писать об украинской “андерграундной культуре” 1970-х годов. Если таковая и существовала, то меня едва ли можно причислить к ней хотя бы потому, что я никогда не вел подпольной (“андерграундной”) жизни. Я всегда ходил на работу и либо работал “от сих до сих” как служа-

щий, либо имел ненормированный рабочий день как преподаватель. Для многих людей моего поколения самым большим моральным авторитетом был Александр Солженицын, а путеводной нитью — его призыв “жить не по лжи”. Чтобы придерживаться этого принципа (то есть вести полноценную жизнь и сохранять самоуважение), каждый из тех, кто отвергал коммунизм как идею, должен был выработать какие-то защитные механизмы. (Впрочем, разве не то же самое делаем все мы — как герои, так и пресмыкающиеся? Большинство из нас не живет, а лишь защищается от жизни.) Из своего опыта знаю, что при Брежневе преподаватель высшей школы мог при желании ни действиями, ни словами не касаться идеологического болота. В то время в обществе существовало понимание такой позиции.

Разумеется, в моем случае речь идет не столько о мужестве, сколько о том, что жизнь была ко мне милосердна. Страшно подумать, с каким ужасом и соблазнами соприкасались предыдущие поколения. Трудно представить, что бы я запел и что бы со мной было при товарище Сталине.

Итак, отвечая на первый вопрос, можно сказать, что между мной и режимом не было конфликта, а только (с моей стороны) творческое, ненасильственное несотрудничество. Конечно, я не питал иллюзий или надежд на то, что меня когда-нибудь станут печатать, но это было минимальной платой за то, что власть фактически не посягала на мой творческий труд. Полагаю, что тот долгий период совпал с моим нормальным созреванием и пошел мне на пользу.

2. Насколько изменились ваши взгляды по сравнению с тем временем?

Кажется, мои так называемые взгляды с каждым годом становятся все более простыми, если не более примитивными. Когда-то я очень интересовался политикой и каждый день слушал западные радиостанции. Все это давно прошло. Кроме того, за почти двадцать лет жизни за границей мои воззрения на мир, на Украину и на себя претерпели существенные изменения. Я уже не воспринимаю то, что на меня обрушивается (назовем это жизнью), в категориях политики и даже морали. По моим наблюдениям, для многих людей идеология, политические предпочтения и религия являются чем-то вроде одежды. Так стоит ли судить о людях и их поступках на основании (как говорили раньше) “мануфактуры”, которую они на себя напяливают? Существует угроза, что вскоре я окажусь совсем без политических взглядов. Хотя бы потому, что мои предсказания и прогнозы никогда не сбываются. Жизнь всегда либо их разрушает, либо высмеивает.

Вот только один пример. Однажды в самом начале 1980-х годов в Киев прибыл товарищ Брежнев. Его выступление перед активом Республики и города должно было состояться во дворце “Украина”. Тогда мы с моим другом Сергеем Бурдой ехали на десятом троллейбусе по Красноармейской улице в сторону Крещатика. На расстоянии нескольких километров по обе стороны дворца под каждым деревом, столбом или урной, возле каждого kiosка, на всех перекрестках стояли по несколько мужчин в гражданском. Отдельные группы образовывали милицейские фуражки. Казалось, что все пассажиры куда-то исчезли, поэтому, наверное, троллейбус мчался без остановок до самого Театра оперетты. Сергей, помню, тогда заметил, что у советской власти столько охранников, что таких, как мы, они могут передуть голыми руками за пару часов.

“Независимая Украина? — процедил он. — Посмотри на карту. На каждом сантиметре — военный округ с казармами, базами и полигонами ... Вокруг каждого города, аэродрома, железнодорожного узла, райкома, правительственной дачи что-то залегло в кустах и бдит ... Куда ни плюнь — стучачи ... Вот что ты с ними поделаешь? Куда ты их денешь?.. Свобода? Независимость?..”

Не ожидая, что я на это скажу, он покачал головой и выругался. И я сделал то же самое.

Мой друг не дожид до того дня, когда жизнь, вопреки фактам и логике, обрушила на наши плечи и свободу, и независимость. Как писал Остап Вишня: “Якби ж знаття...” Пожалуй, не случайно мы не можем предвидеть будущее. Ибо этот дар нас бы окончательно раздавил.

Однако заложенные в то время основы до сих пор держат некоторых из нас на плаву. Эти основы не требуют поисков “национальной идеи”, борьбы за сохранение “берегини” или поклонения “нашим извечным святыням”. Сначала освободись от балласта. Расчисти зрение. Это — единственное, к чему они призывают.

3. Какие уроки вы вынесли из того времени и как можно применить этот опыт в нынешних условиях в Украине, России и Польше?

Я не уверен, что существует простой ответ на этот вопрос. Во-первых, это абсолютно разные страны, у каждой из них — свои проблемы и задачи. Во-вторых, я уехал из Украины в конце 1993 года, то есть все развитие духовности пережил “у Бога за пазухой”. Это и объясняет мою перспективу, которая, надеюсь, может кого-нибудь заинтересовать. Особенно сейчас, когда наша репутация в мире упала так низко. Кажется, если кто-то и упоминает Украину, то в контексте ненадежности, коррупции, торговли людьми, криминализации власти, апатии и цинизма населения.

Раньше я думал, что все эти явления — следствие глубокой травмы, нанесенной нам предыдущим столетием. И действительно, почти четыре поколения украинцев были загнаны в соцлагерь и пропущены сквозь войны, террор и голод. Всех тех, кто был способен думать, руководить и творить, либо запугали, либо уничтожили. А о том, что сделали с крестьянами, даже сейчас больно вспоминать. Такие вещи не проходят даром ни для злодеев, ни для их жертв. Последние до сих пор, в гораздо более свободных условиях, продолжают выбирать тех, кто их обворовывает, обманывает и сетует на них. Как такое может быть?

Очевидно, речь идет о серьезной психической травме. И беда в том, что внешней “медицинской” помощи нет и не предвидится. Никто не отправит всю страну в санаторий, чтобы мы там хоть немного пришли в себя. Все нужно делать самим, на бешеном скаку, да еще и из последних сил изображать нормальность.

Но и валить все на коммунизм, пожалуй, не стоит. Некоторые эксперты по украинскому национальному характеру (наиболее выдающиеся из них — Гоголь, Квитка, Франко, Остап Вишня, Довженко) поставили нам диагноз задолго до катастроф XX века. Хотим ли мы быть отдельной нацией? Без ответа на этот вопрос не может быть ни свободы, ни независимости. Но складывается впечатление, что Украина (не мифическая земля “смутку і кри-

ниц”, а реальная страна на Востоке Европы) все еще колеблется и медлит с ответом на этот вопрос.

Распад предыдущего общественного порядка обусловил кризис идентичности. Перед людьми, привыкшими жить по принципу “как-то оно будет”, вдруг встал вопрос: кто вы такие? Люди из бывшего СССР? Наполовину русские? Русскоязычные украинцы? Или просто украинцы? И что значит “быть украинцами”? Неужели теперь придется балакати по-селянському? А что, если мы этого не хотим?

В такие кризисные моменты люди, как правило, полагаются на “коллективное подсознательное”, на инстинкт, на “свое”, на то, чего у них никто не может отобрать. (Для простоты назовем это метатекстом.) Имеем ли мы такой метатекст, который бы без принуждения сплотил нас как нацию? Например, поляки поднялись потому, что коммунизм никогда даже не отважился замахнуться на католическую церковь, которая для большинства поляков была воплощением и оплотом “польскости”.

Правда, мы тоже считаем себя христианами. Но вражда между конфессиями и тот факт, что наша ведущая православная церковь является орудием другого государства, которое через нее ведет упорную борьбу за власть и собственность, свидетельствует о том, что хоть мы когда-то прошли крещение, но так никогда и не были евангелизированы. В какой-то степени наша религиозность ближе к ветхозаветному “око за око”, нежели к любви к ближнему, без которой все становится идолопоклонничеством. Только место Закона у нас занимает языческий предрассудок.

События и последствия Оранжевой революции напоминают мне евангельскую притчу о сеятеле (Лука: 8, 5–15). В этой истории некоторые из посеянных им зерен упали на дорогу и были вытоптаны или склеваны птицами. Другие упали на каменистую почву и, взойдя, сразу же засохли, потому что там недоставало влаги. Третьи попали в терн, который поднялся и заглушил семена. И только четвертые упали в хорошую землю и, взойдя, уродили стократ. Семена, судя по дальнейшим пояснениям, это и есть дар (он же Благая Весть), которого мы, безусловно, не заслужили, но он нам все равно дается наперед. Примеряя эту притчу к событиям последних семи лет, я бы сказал, что наше место — где-то между второй и третьей горстями. Поэтому и вопрос “добре, брате, що ж ти таке?”, поставленный Шевченко в своем “Посланні” почти 170 лет назад, все еще актуален.

Кажется, что единственным метатекстом, охватывающим всю какофонию украинской разногласицы, является наше ДНК. По крайней мере, здесь нас ни с кем не спутаешь. Если и правда существует такая вещь, как “дух народа” (термин, предложенный немецким философом-романтиком Й.Гердером), то наш дух из диких степей. Иное название для него — дух противоречия. Он нас разрывает, будоражит и не позволяет спокойно рассмотреть и навести у себя порядок. По своей природе мы — индивидуалисты и несправимые анархисты. Мы слишком несговорчивы, чтобы охотиться стаями, поэтому всегда оказываемся ни в сих, ни в тех. Зато мы талантливы, за что дальние и ближние соседи издавна ценят нас — как красивый строительный материал. А еще (за редким исключением) мы очень ленивы. По крайней мере такими мы выступаем в анекдотах и в фольклоре тех, кто с нами сталкивается.

Можно, конечно, это объявить клеветой и вражеской пропагандой. Но что тогда делать с Остапом Вишней и его “Чухраїнцями”? Точнее его никто

нас не описал. И полагаю, что именно эти черты (а не вполне реальные козни украиножеров) за двадцать лет так и не позволили нам выдаться на высоту, с которой уже не было бы возврата в наше болото.

У нас всегда считалось, что мятежный характер (“дух, що тіло рве до бою”) является двигателем прогресса. В итоге для большинства из нас диссидентство и нонконформизм — это добродетели, имеющие универсальную ценность. Со времен Возрождения, Реформации и Просвещения существует мнение о том, что физическое и моральное сопротивление репрессивным политическим системам — неотъемлемая часть человеческих прав и свобод. Эта позиция служит также краеугольным камнем идеологии восточноевропейской интеллигенции. Невозможно отрицать положительную роль, которую играет гражданское неповиновение в жизни любого общества. Даже в Соединенных Штатах Америки, которые были основаны сектантами (то есть религиозными диссидентами), власть всячески поощряет конформизм, и это, по мнению многих, есть одной из причин упадка Америки. Можно даже сказать, что противоречие, расшатывающее этого исполина, заложено в самой конституции США, которая для них является началом истории и метатекстом. Ведь невозможно “бороться за счастье” (на этом стоит американская конституция) и при этом плыть против течения (а именно это и должен делать каждый сознательный гражданин).

Но в западном мире любые мятежные тенденции (“здоровая негативность”) уравниваются структурами, сетями общественных и государственных институций, писанными и неписанными законами, то есть правилами игры, на которые никто не посягает, поскольку налицо понимание того, что без них не будет никакой игры. Наша анархичность, напротив, не знает границ, поэтому мы и презираем любую власть и не ждем от жизни ничего хорошего. Скепсис блокирует нам свет. Наш взгляд всегда прикован к тени. Идея христианской свободы непонятна для нас, вместо нее над нами нависает слепая языческая *судьба*. Как показывает история, с таким грузом негативности можно как-то пережить “и суму, и тюрьму”, но невозможно построить государство, из которого бы не хотелось бежать.

Что же нам делать с такой генетикой? Отрицать ее бесполезно, и отбросить невозможно. Остается разве что трезво оценить свою натуру и погрузиться в нее. С благодарностью использовать все, что нам было дано от рождения. Если благо всегда может обернуться проклятьем, значит, возможно движение и в противоположную сторону. Например, если уже ты такой неисправимый индивидуалист, то и используй эту черту себе на пользу. То есть весь свой неизбывный дух противоречия пусти на то, чтобы изменения, к которым ты стремишься, начинались с тебя самого (совет М.Ганди). Не стоит ожидать от кого бы то ни было приказов или указаний (все равно мы никому не верим). Нужно самому ставить вопросы, и ответ всегда придет. Иными словами, если ты хочешь быть украинцем, будь им. Что это означает? Сам думай. Если они нападают на твой язык (а похоже на то, что это — наш единственный этноконсолидирующий фактор), живи им, живи в нем. Если они напичкивают мусором и разрушают институт, важный для твоего дела, будь этим институтом. Против такого они бессильны.

Этот путь, может, и не простой, и не показательный. Легче маршировать всем вместе под флагами. Зато он гораздо более определенный и надежный. К тому же, никого не нужно обвинять. Ведь в таком случае ты — сам себе голова.